

**Марина
ГУСАКОВА**

с. Кончезеро

Тополь, колодець и ...домовой



«Внутри самого себя не найдёшь бессмертия».
(А. Сент-Экзюпери)

«Верное было давным-давно найдено...
Коснись этой древней правды».
(Гёте)

В тот год, когда я родилась,
отец посадил около дома маленький тополь.
Со временем старый дом снесли,
а на его месте построили
большую современную школу.
Кругом всё заасфальтировали,
и лишь тополь по-прежнему выпускал
весной свои нежные клейкие листочки,
бросал вокруг себя июньский пух
и осеннюю листву,
а зимой застывал в серебристом холодном сне.
Не раз его подстригали, ломали ветви,
но древесный уродец, черпая свои силы
в земле, вновь являл весной набухшие почки.
Глядя из школьного окна, я видела,
как терзает ветер тополиные листья,

как они, подчиняясь движению дождевых капель,
медленно падают на мокрый асфальт.
А в классе горел свет,
и звучали пушкинские строки:
«Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен».
«В-в-е-чен», – казалось, взвыл ветер.
«Ве-чен, ве-чен», – выстукивал
по подоконнику дождь.
И ещё один лист, оторвавшись от дерева,
тихо падал в этой звучащей вечности
и наконец упал, приникнув
к стеклу проезжавшей машины.
«Невидимо склоняясь и старея,
мы близимся к началу своему...»
Сколько Пушкину было,
когда он написал эти стихи?
Двадцать шесть. Двадцать шесть?!
«Мы близимся к началу своему...»
Но почему к началу?
Я смотрю в окно и вижу
в ветвях тополя своё отражение...

Отцовский колодец

*«Жизнь человека измеряется тем, что он в ней
сделал и почувствовал».*

(С. Смайлс)

*«Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студёная черней,
Чище смерть, солёнее беда,
И земля правдивей и страшней».*

(О. Мандельштам)

Отец копает колодец. Он копает его под старой ивой, недалеко от заброшенной, покосившейся кузницы. Чуть дальше, на берегу реки, стоят несколько чёрных приземистых бань, возле одной из них догнивает старая, дырявая лодка. Где-то в вышине пролетают журавли. Ещё недавно они садились на болото, что за деревней, но болото высушили, и журавли летят мимо.

Отец отставляет лопату, долго смотрит в небо. «Кар-кар», – вдруг раздаётся резкий гортанный окрик.

– И ты тут, старая ворчунья. Чего раскаркалась? Не ворчи, чернокрылая, мне с ними не лететь: уж больно земля крепко держит.

Он вновь принимается за работу, переворачивает тяжёлую от влаги землю. Она здесь хорошая: встарь на этом месте бани были, со временем сгнили, землёй стали. А в девятнадцатом веке был рынок, где торговали рыбой.

На большой чёрный ком падает серебристый ивовый лист.

– Дочка, а ну, глянь. Что это я тут нашёл?

В руках у отца старая, потемневшая от времени монета.

– Давай-ка мы её почистим. Видать что?

На полустёртой поверхности обозначились цифры: 1... 8... 5... 6... Тысяча восемьсот пятьдесят шестой год. Древность-то какая! Что ж тогда было-то? Крымская война, смерть царя Николая. А что ж ещё?

– Ишь ты. Она, пожалуй, прадеда моего, Никифора, помнит.

Отец присел на край бревна, внимательно разглядывая монету. По дороге протарахтел трактор, его обогнал едущий в город автобус. Из соседнего, «казённого», дома (так мои родители именовали бараки) доносилась музыка: крутили «Битлз». Сердитый женский голос просил: «Убавишь ты или нет?! У меня своя музыка в голове звенит».

– ...all the people... – неслось по деревне.

– Род-то наш, дочка, не испокон веку в этих местах живёт. А были они, предки-то наши, из-под самого Новгорода. Исстари бежал бедный люд на Север, сюда в Карелию, подальше от податей да барской немилости. В те времена места здесь были глухие. Так и прадед мой Никифор объявился в этих краях. А когда? Теперь-то уж точно не скажешь. Пришёл с молодой женой, дом построил у самой реки. Стал землю пахать, рыбу ловить да охотой промышлять. И было у него три сына и пять дочерей. Крепко, по-хозяйски, хотел войти он в эту землю, корнями врасти в неё. Да только недолго пришлось хозяйничать-то: вначале жена умерла, а вскоре и сам от холеры помер. А то говорили, заporоли его за участие в «холерном» бунте. Да, брат... И остался за старшего в доме Иван, Иван Никифорович, дедка мой, а тебе, стало быть, прадед будет. Красивый он был: волосы белые, что лён, волнистые. А бородку носил маленькую, кудрявую, что профессор. Лицо молодожавое такое, румяное. А глаза живые, цепкие: посмотри, брат, – не соврёшь...

...Я вспомнила висевшую над моей детской кроваткой репродукцию картины «Тургенев на охоте». Фотографий прадеда не сохранилось. И этим отец объяснял появление картины в доме, глядя на которую не раз говорил: «Уж больно на деда моего, Ивана Никифоровича, похож».

– Поговаривали: вора по следам называл. Да и силой Бог не обидел. На голову был выше братьев своих, а кулаки – что молоты. Не раз один с медведем встречался. Старики даже сказывали, что однажды зверь в него слюной кидал. Видно, уж больно рассердил его дед. Настигали его лыжи и сохатого. Да, брат, славный охотник был. Сила в нём жила, что и без кулаков смиряла.

Так держали мы лошадь. Ох, и красивая была! Дымкой звали. Купил её дед у монахов, в Клименецком монастыре, что на острове посреди Онежского озера. Держали её божьи люди в цепях: никто, значит, не мог с ней справиться. Уж больно горяча была кобыла-то! Одного лишь деда и слушалась. Остановливать приходилось аж за сто метров. Это если пашешь. А уж ежели едешь куда – так и того раньше, за все пятьсот. Призы на скачках брала! Неслась сломя голову. Глаза аж кровью наливались. Дед порой прямо на ходу в сани заскакивал: не останавливалась. Раз на бегах (ещё отец жив был) неслась так, что люди в разные стороны шарахались. Цыган ещё пристал: продай, мол, что хочешь отдам, а не продашь – всё равно выкраду. Дед лишь в глаза

ему посмеялся: «Убьёт тебя лошадь-то». Обиделся цыган: «Кому говоришь – цыгану говоришь: цыган ездить умеет». И ведь хотел украсть, да не смог. «Правда твоя: не мне этой лошастью владеть – такая и убить может».

Как-то зимой вёз дедушка через озеро по льду трёх раненых красноармейцев. Так Дымка, казалось, задние ноги за передние забрасывала. Всё равно что летела. Тем, сердешным, пришлось на скаку выпрыгивать. Да, брат, вот это лошадь была!..

...Отец рассказывал, а я слушала и видела, как ползёт вверх по тоненькой, слегка надломленной травинке божья коровка. А в вышине со страшным гулом летел военный самолёт: видно, где-то за лесом был аэродром. Божья коровка упала, а затем вновь поползла вверх.

– Пять кобыл подарила, а вот жеребца выходила и умерла. Смерть Дымки дедушка тяжело переживал. Хороша была лошадь и на бегах, и на пахоте.

Дедка Иван уж стариком был, а всё за плугом ходил и нас сызмальства к земле приучал. «Любить землю – значит, работать на ней», – говорил он не раз. Одевался на пашню всегда чисто, что на выход. Так было у него несколько пар сапог: одни лакированные – те по праздникам обувал, две пары – на реку. Ещё тогда их дёгтем заливали, чтоб, значит, не промокали. И были сапоги на пашню. «Ты землёй любишься, силой её, и она пусть тобой любитесь да трудом твоим».

А одно время дедушка лесничим был. Лес-то он хорошо знал. Нас, ребятишек, с собой брал, учил, чтоб в лесу не плутали. «Ведь лес у нас, коль не знать его, бедой обернуться может. А уж ежели ты к нему со вниманием, то зла от него не жди, а то и на помощь придёт». Так вот смола сосновая, «живицей» называется. Слово-то какое – «живица». Живи, мол, родной, солнышку радуйся. И сама она, смола-то, словно сгусток солнечный. Так мужик одну ногу себе топором рубанул: дрова рубил и промахнулся. Врачи приговорили: резать надо, ногу-то, чтоб, значит, заражения не было. А мужик-то не послушался, живицей себе ногу и сохранил.

Я вспомнила, что когда мы с друзьями ходили в поход на Суну, то останавливались в доме этого старика. Он рассказывал о себе, о своих детях, о войне и об этом случае чудесного спасения от ампутации, а в доме у него пахло смолой. Вспомнила, как пили воду из его колодца. Она была чистая и холодная, словно из родника. Мы ещё брызгались, смеялись.

– Брал нас с собой дедушка и на реку. Щедра

тогда была Суна, как всё большое и сильное. Грохот водопада Кивач на много километров был слышен. Бывало, с мостков в воду глядишь – видно, как рыба играет. А теперь что ж: заросло всё – косить можно. И за водой-то раньше на реку ходили, а не привозили в бочках, как сейчас. Помню: мать моя за водой пойдёт (кормысло голубое было). Обратно несёт – солнце в ведрах купается. Да, не та теперь река, и течь-то она стала медленней, словно устала скалам да берегам силу свою показывать. Хорошо, что не увидел дед, что с ней стало, уж больно любил он её, реку-то. Особенно потянуло его к ней перед самой смертью, словно утекли с её водами и его годы, да и землю тогда у нас отобрали. Дедка, помню, посадили даже за частушки про колхоз. Ненадолго, правда. Да и «посадили» – громко сказано. Заперли в сельсовете, а кум, охранявший его, сжалился да и выпустил.

*Пошла в колхоз –
Сапоги со скрипом,
А с колхоза пошла –
Подвязала лыком.*

*Все Советы, комитеты
Деревенской бедноты,
Если б не было Советов,
Было меньше бы беды.*

*Шла корова из колхоза,
Слёзы капали на нос.
– Отрубите роги – ноги,
Не пойду больше в колхоз.*

*Эх, советская власть
Дожил до ручки:
Нет ни хлеба, нет ни соли,
Нет и белой мучки.*

*Ваня Киронен – дурак,
А Лёша Котышев – кулак.
А зашли они в колхоз:
– Лёша, вынеси навоз!*

– Попомни мои слова, Васька, через пятьдесят лет все будут ходить с портфелями, а есть будет нечего, – говорил дед и словно в воду глядел.

Так вот в семьдесят лет пошёл Иван Никифорович работать в рыбную артель. Их там человек

семнадцать было. Вечерами играл рыбакам на тальянке да заводил свою любимую:

*Догорай, моя лучина,
Догорю с тобой и я...*

Никогда не пил, а после смерти сына, отца моего, стал прикладываться. Бывало, литру водки выпивал, а пьяным никто не видел. Однако оставили силы и старика. Рухнул он, как подстреленный лось. Догорела, значит, его лучина...

...Отец замолчал. Я почему-то не могла поднять на него глаза и видела лишь его руки и землю, от которой исходил тёплый, сладковато-терпкий запах. И мне казалось, что я, словно тоненький ивовый прутик, слышу, чувствую, как близко под землёй шумит вода.

Мы уезжали из деревни домой, в город, вечером. По дороге на автобусную остановку встретился нам сосед, что из «казённого» дома напротив. Мужчина лет сорока, видать, изрядно выпивший где-то, теперь шёл вдоль улицы Заречной и старательно так пел: «Там, где клён шумит над речной волной...» Голос у него был довольно-таки сильный, и пел он неплохо, очень даже задушевно пел, если бы его пение не прерывалось периодическим иканием и ответным «добрым» словом мчащимся мимо машинам. Поравнявшись с нами, он как-то виновато поздоровался и добавил: «Прости, Михалыч, выпил немного. А-а...» – махнул рукой и пошёл дальше.

Автобус был полон дачников, возвращавшихся в город. Мы с отцом ехали молча. Он смотрел в окно, а я думала о том, что узнала сегодня. И было стыдно, что мало знаю о своих предках, что редко приезжаю сюда, в деревню, что с трудом вспоминаю тех, с кем здороваюсь по деревенскому обычаю. А более всего было стыдно, что за тем, что я читаю, изучаю, многое теряется, расплывается во что-то неопределённое: «история», «народ», а ведь это история моей семьи, судьбы моих предков, моего отца, матери.

Когда я приезжаю домой и нажимаю на кнопку звонка, то слышу, как торопливо идёт к двери отец. Он открывает её порывисто и вместе с тем с какой-то стеснительностью прячет радость. Мать сидит в комнате, оторвавшись от спинки дивана. Длинная, тонкая, как у девочки-подростка, шея. Уставшее, немолодое лицо её обращено ко мне. Но после того как я здороваюсь, плечи её опускаются. Начинается суэта. Руки делают привычное: зажигают газ, накрывают на стол. Родители ни о чём не спрашивают, но я спиной чувствую их взгляд: с чем я? Как жила без них?

Автобус тряхнуло. Отец разговаривал с каким-то мужчиной, что сидел впереди. А у меня в голове почему-то вертелась песня, что пел сосед. А ещё вспомнилась фольклорная экспедиция несколько лет назад.

Глухая деревня на берегу лесного озера. Несколько старых карельских домов, высоких, чёрных, со множеством маленьких окон. Постоянно здесь живут лишь несколько стариков да старух, а летом приезжают дачники и отдыхающие да ребята-косари из трудового лагеря. Мы с девочками-однокурсницами ходили из дома в дом, разговаривали с хозяевами, по большей части с хозяйками, слушали и записывали старинные песни, «бывальщины».

Особенно запомнилась мне одна старушка, звали её Анна Васильевна. В свои восемьдесят с лишним она косила траву, а когда мы попросили её что-нибудь спеть или рассказать, то, смущённо улыбаясь, ответила, что стара стала, позабыла всё, но потом всё-таки согласилась. И, спрятавшись от приехавших на лето детей и внуков, которых, видимо, очень стеснялась, пела нам одну за другой старинные русские песни.

Мы сидели за банькой, на берегу озера, так, чтобы нас не было видно из окон дома, и, еле-еле успевая записывать, внимательно слушали:

*Молодость моя молодецкая,
Ах, моя молодецкая,
Ты куда прошла, куда прокатилась,
Ах, куда прокатилась?
А со мной, молодец,
Пошла, не простилась,
Ах, пошла, не простилась.*

За окном осенний вечер. Из дальней комнаты слышен бой часов. В гостиной на стене фотография в деревянной рамке. На снимке памятник солдату на братской могиле, вокруг оградки растут тополя. Рядом с фотографией – репродукция: шишкинская «Рожь». Около дивана подсвечник «под старину», журнальный столик, на котором рядом с перекидным календарём стопка старых, пожелтевших от времени фотографий. Они все с дырочками: вероятно, раньше их вешали на стены.

Вот два солдата замерли, как на карауле, у ярко разрисованной тумбы, основание которой слегка помято. На тумбе жестяная банка с букетом засохших ромашек в колосьях трав.

– Это дедка Николай Никифорович, – отец показывает на стоящего справа бородача, средне-

го роста, с лихо закрученными усами. На обратной стороне оттиск гербовой печати: «Фот-ия двора его имп. высоч. принца Алек. Петр. Ольденбургского; ф-ия двора его имп. высоч. принцессы Евг. Макс. Ольденбургской». И на всём этом ставшими коричневыми от времени чернилами размашисто написано: «На добрую память дорогому семейству Ивана Никифоровича от брата Николая Никифоровича. 1916-го года, 22-го Апрель». И небольшая приписка: «К севу-то небось готовиться? Уж больно домой охота. Говорят, скоро будет много масла, одиннадцать с четвертью...» И дальше неразборчиво.

– Дедка Николай, тот долго, до сорока лет, не женился. А уж после детей не было. Отчего? Бог ведает. Может, оттого что в империалистическую газам травлен был. Работать на земле не мог: тяжело, видно, было. А всё дома, по хозяйству, или на мельнице. Лодки шил да сети вязал, телеги делал да за лошады ухаживал. Помню ещё, деревья сажал. А вот охоту не любил и никогда, значит, ею не занимался...

На другой фотографии (верней, на том, что от неё осталось) – мой дед. Он сидит на высоком резном стуле. Лицо круглое, чистое, с чуть тяжеловатым подбородком. Одна рука его покоится на стуле, другая – на коленях. Руки моего отца...

– У дедки Николая, стало быть, детей не было. А у младшего брата, что мальчонкой был послан в Питер – на учёбу, у того от двух жён двое парней было. Да только непутёвые. Оба из дома ушли. Один прибил к какой-то бродячей трупке, выступать стал на площадях да вокзалах, где народу побольше. Петь любил да на гармони играть. Да говорили, что по пьяному делу под трамвай угодил. Вернулся в деревню (отец-то его тогда у нас в банке при лесопильном заводе работал, у англичанина Бранда. Ох, и пограбил иноземец наш лес). Так вот, вернулся без руки, да к тому же правой. Помню, как просил бабушку мою, Марфу, тряпок накрутить, подобие руки сделать. Да ведь, брат, тряпками-то руку не заменишь. Как сейчас вижу, взял он, значит, пилу и во двор вышел. И вместе с дедушкой моим пилить начал, да неумело так, зло, страшно...

А другой брат (его почему-то все Жоржиком звали), тот, значит, всё счастье по белому свету искал, да, видно, не так понимал он счастье-то. Старики говорили, что был в Сибири да оттуда с большими деньгами в Питер приехал. В одну неделю прокутил всё, да и опять куда-то пропал. Сказывали, на Колыме был да, видно, там и сгинул.

Вот и выходит, что на земле-кормилице только

один внук Никифоров остался – Михаил, отец мой. Рослый он был, статный. Работал когда, любо-дорого посмотреть было. Таких-то молодых в то время и брали на солдатскую службу в отборные царские полки. Так и дед твой служил в гвардии Преображенском полку.

С империалистической по ранению вернулся, а друг его Шакшин (Шакшины всю жизнь соседями нашими были), так тот ещё четыре года у немцев в плену пробыл. Да, брат, посчитался на чужой стороне. А как вернулся на родину, так отец мой всю дорогу от станции до дому его на себе нёс. Обессилел на немецких харчах-то.

Да, друзья были. А вот после революции разошлись их пути. Шакшин (тот всё против советской власти выступал) в двадцатом году был даже командиром батальона белофиннов, что держали на том берегу Суны станцию. Тогда тот берег так и прозвали «Финляндией». За это и выслан был на Соловки-то. Да...

А отец мой не хотел идти ни за белых, ни за красных. Хозяйство наше было середняцкое: своими силами управлялись да лишь на руки свои надеялись, да на то, что река и лес дадут. Отец ещё на железную дорогу подрядился: всё заработок. Но случилась беда: какая-то хворь на него напала, от неё и помер... Я тогда ведь мальчонкой был, но мать моя рассказывала, что, когда отца хоронили, собаки выли, протяжно так... Вот, брат, как. И осталось нас у матери трое. Сашке, старшему, тому года три было, а нам с сестрой Манькой едва год исполнился.

Вот она – фотография моей бабушки, Марии Семёновны. Маленькая ростом, худенькая, волосы собраны на затылке, она сидит около большой русской печки. Узловатые руки оттягивают чистый белый передник. Глубокие иконописные глаза её слегка прикрыты. Я не помню бабушку, хотя жила у неё в деревне до трёх лет: мама работала на комбинате по сменам. Когда я родилась, бабушка сказала: «Берегите девку, руки у неё мои». Она воспитывала меня так, как воспитывала своих детей, как чувствовала, как умела. Пугалась слова «режим», всегда забывала, когда надо давать витамины: до еды или после. Я ходила в чём-то несусветном, до полу; до ушей перепачканная ягодным соком.

...Бабушка умерла в день своего семидесятилетия. С утра вышла к реке, посидела под старой ивой. Вернувшись, прибралась в избе и сама оделась во всё чистое. Когда все сидели за столом, шутили, пели, она смотрела на каждого каким-то жалеющим и в то же время оставляющим взглядом.

– К вечеру гости разошлись. Попрощались и мы с ней, на остановку пошли. Стали в автобус садиться, только ногу на подножку поставил, сестра бежит: «Вася, мама умерла!» Надо же, родилась на Успенье Богородицы и преставилась тоже в этот день...

Как же всё-таки отец похож на неё! А значит, и я... В том, что между нами существует какая-то непостижимая связь, мне однажды пришлось убедиться, хотя в то, что произошло, трудно поверить.

Я ждала любимого человека. И казалось, никакая сила не может помочь нам увидеться. И как раз в это время мы с отцом решили пойти на кладбище, к бабушке. Утром папа неважно себя почувствовал, а меня как тянет что-то: «Иди одна».

Шёл мелкий, нудный дождь. Мне было очень страшно оттого, что вокруг ни души. И вот кладбищенская ограда, за которой лабиринт тропинок. Но по какому-то наитию я шла, убеждённая, что иду правильно. Вдруг возникшая фотография бабушки (с моими глазами) всё равно застала врасплох и заставила вздрогнуть. Слезы потекли сами собой. Глотая их, я просила: «Бабушка, сделай так, чтобы он приехал». (Молиться тогда я не умела.) С удивлением заметила, что дождь прошёл. Слезы высохли, исчез страх, пришёл покой. Глазами нашла рядом с бабушкиной могилой другую. Ещё девчонкой я слышала романтическую историю о человеке, всю жизнь любившем мою бабушку и просившем похоронить себя рядом с ней...

Когда я открыла дверь, отец сердито сказал: «Почему так долго? Он уже два раза приходил, тебя спрашивал».

– Как глаза закрою, вижу, как мать моя волосы расчёсывает. Были они у неё густые, тяжёлые – не раз, бывало, гребень ломался. Сама маленькая, но сильная. Делала всё ловко так да проворно – углядеть нельзя. Работящая была, казалось, никогда она не устаёт, а ведь ей приходилось и за бабу, и за мужика управляться. После смерти отца мать на завод пошла. А когда в середине тридцатых годов колхоз организовали, то и нас туда потянули. Работать приходилось помногу. Мы с братом пацанами были, но тоже косили, хлеб убирали (да-да, у нас здесь хлеб выращивали). Зимой доски да шахтовки для Донбасса на лошадях на станцию возили. Да, нелёгкое было время... Часть раскулаченных в леса подались, на болота, чтоб, значит, на Соловки не сослали или Беломорканал строить. Помню, как-то летом возвращались мы с матерью с поля. И встретились нам тогда на тро-

пинке женщина. Шла она со стороны болота с пустым берестяным кошелём. Ещё помню, остановилась, у матери про колхоз всё выпрашивала. А потом-то оказалось, что баба эта туда, на болото, еду носила. Их там человек восемнадцать было. Нескольких позже схватили, а остальные же как в воду канули. А женщину ту потом нашли, топором зарубленную. А кем? По-ведай... Злое время было. Я вот думаю, если бы не та хворь, что отца в могилу свела, то и нас бы раскулачили. Езжать бы нам на Соловки...

– Пап, а кто это?

Передо мной лежит фотография. Богатая, по-видимому, семья на фоне застывшего холщового моря, над которым собираются нарисованные тучи.

Он: с металлической тростью, в шляпе с небольшими полями; тугой белоснежный воротничок; острые носы начищенных до блеска туфель, в которых могло бы отразиться высокомерное выражение его лица.

Она: в необыкновенно красивом пальто и в такой же необыкновенной и, несомненно, модной по тому времени шляпке. Как жезл, держит она чёрный (а может, и не чёрный: тогда не было цветных фотографий) зонт, упираясь его остриём в пол. Её лицо кажется окаменелым, и даже блеск огромных, слегка навывкате глаз напоминает блеск её тяжёлых золотых серёжек.

И девочка... странно похожая на меня. Открытое лицо, распахнутые миру глаза, но пальто без рукавов, и руки под ним словно сложенные крылья. Кто она?

– Это семья богача одного, Ольшина, что увёз когда-то в Питер одну из дочерей Никифора. После революции они сразу в Финляндию уехали, где и доживали свой век. Правда, во время уже этой войны приезжал сюда в Карелию сам старик Ольшин: родственников искал. Зашёл он тогда и к соседу нашему Шакшину, что отсидел положенный срок и вернулся домой как раз вместе с финнами. А тот и сказал: мол, стариков ищи на кладбище, а внуки – те за советскую власть воюют.

...Сумерки. За окном проехала машина, на миг осветившая фотографию на стене. В тишине, как пульс, стучат часы.

– Войну я встретил в Пскове, где служил в то время кадровую. В субботу, помню, весь день муку на мельнице грузили. Только до койки своей добрался – уснул как убитый. И приснился мне сон, до сих пор забыть не могу. Будто поле наше, что за домом, у леса. А мы всей семьёй рожь убираем. Мать с сестрой, весёлые такие,

нарядные, жнут да снопы вяжут. А мы, значит, с братом помогаем эти снопы в бабки ставить. И вдруг с неба звезда падает. Это среди бела дня-то. И будто она всё растёт и растёт, и вот уже в шар превратилась, огромный такой, огненный, аж добела раскалённый. «Вась, бежим, посмотрим!» – кричит мне Сашка, а сам бежит по полю прямо звезде той навстречу. Я за ним: «Сашка, стой! Сашка!» Бегу, значит, а ноги-то во сне будто ватные. А от лучей-то тех земля горит, огонь уж на рожь перекинулся. «Сашка-а-а!» И тут страшный взрыв раздался. И голос командира: «Тревога! Все к орудию!» Я проснулся, гляжу – уж последний из казармы выбегает...

А на третий день войны шли мы в город Остров. Шли по полям, с пустыми подсумками, в белых, выкрашенных ещё в финскую войну касках. А в голове: «Как же так?» А немец-то тем временем уж реку Великую форсировал. Местные-то, что до начала войны на сборах были, по домам разошлись. Лейтенант наш колышки сорвал – и в лес. А мы решили обратно податься. Так двое суток по лесу плутали, голодные, злые. А как на дорогу-то вышли – налетели тут штурмовики. Чуть выше телеграфных столбов летели, гады. До сих пор лицо одного фрица перед глазами стоит: смеялся, сволочь, видя, как мы по-пластунски ползём, в белых-то касках. Они тогда не просто убивали нас, нет. А словно душу топтали, наслаждаясь нашим позором. Те, кто в живых остался, стали к Новгороду пробиваться. А дороги-то все кругом полны беженцев. В пыли, в слезах. И детишки-то не бежали за нами, как прежде, не шли рядом, семена ножками, а смотрели испуганно так. И ничего-то не было горше их взглядов...

Я вспомнила, как отец рассказывал о первых днях войны на сборе в пионерлагере, где я была вожатой. Тогда директор лагеря прервала отца, вручила цветы и, хлопая, поблагодарила от всех и вся. Ребята зашумели: «Пусть рассказывает! Интересно же». Мне было очень больно за отца. Конец встречи получился скомканным, а меня выругали за то, что забыла вынести решение сбора.

– Итак, пришли мы, значит, в Новгород, в расположение наших войск. Если бы не война, не знаю, пришлось ли и побывать-то здесь. Ведь род-то наш отсюда пошёл. Помню, даже сфотографировались у памятника Тысячелетию России. Каково было потом видеть снимки с фрицами у этого памятника! Стоят, сволочи, улыбаются. Город-то мы тогда оставили. Но дальше фашисты не прошли, застряли здесь на

долго. Помню, когда мы отступали, то на дороге повстречался нам старик, весь седой, сгорбленный. «Никто, – говорит, – и никогда Валдайскую возвышенность не брал и не возьмёт». По-стариковски и вышло: наш остался Валдай, не отдали его фрицам. А зимой сорок четвёртого и в Новгород вернулись. Кругом развалины, да ещё и белым снегом, как саваном, покрыты. А памятник тот фашисты увезти хотели, уже и на платформу погрузили, так наши успели, отбили. Но это в сорок четвёртом было, а до того времени нас, как резерв Главкомандования, постоянно перебрасывали то в тыл, то на линию фронта. На фронте хоть ночами не беспокоили, а в тылу все ночи напролёт бомбили. Помню, под Демянском нужно было создать оборону против немецких танков. А наша пушка стояла недалеко от школы. А за ней поле льняное. Синь такая, что глазам больно. В школе той пианино было. Я, как гармонь да баян знал, сыграл ребятам как мог «Катюшу». Ох, и жалко было потом инструмент оставлять! А куда его? С собой не возьмёшь, а как подумаешь, что какой-нибудь фриц будет на нём марш играть (другой какой музыки мы за ними не признавали: для этого душа нужна), так сердце кровью обливается. Рукой по клавишам проведу – дом, мать вспомню. Где она? Ведь два года от неё писем не было, да и она меня, как потом выяснилось, погибшим считала. Да и о брате ничего с начала войны не знал.

Так вот, закопали мы орудия, в баньку сходили, что за рекой. А когда уж светать стало, глядим: немцы на опушке. Семьдесят четыре танка. Шли они ровно так, прямо как на параде. Некоторые фрицы даже из башен высунулись, не боялись, гады. А нам приказ дан: подпустить поближе, чтоб уж бить, так наверняка, прямой наводкой. И вдруг как страшный смерч налетел. Песок, визг, огонь! Так впервые познакомились мы с «Катюшами». Да, брат, вот это была песня!

Почему-то сейчас всё больше не бои вспоминаются, а какие-то мелочи, а чаще всего лица ребят наших да всех тех, с кем на войне встретиться довелось. Мёртвые ли живые – всё едино. Так командиром взвода был у нас Спехов Василий Константинович, семнадцатого года рождения. Ещё, брат, в Финскую отличился, орден Красного Знамени получил! А эту войну лейтенантом начал. Высокий такой, здоровый был – одним словом, сибиряк. До войны на «Уралмаше» работал, а как на фронт ушёл, его два брата сменили. Так же, как и он, кузнецами работали. И, видать, хорошо работали: оба Героя Труда в войну получили! А Василий Константинович, тот

знаменосцем дивизиона был. Ходил так, что стакан на голову поставь – не уронит. И человек он был хороший, правильный. Да вот беда: уж больно выпить любил. За что и был четыре раза разжалован. Два раза, значит, – до сержанта и дважды – до рядового. Однако в бою бился как чёрт! И его вновь повышали. Так он и закончил войну, как и начал, – лейтенантом.

А дружок у меня был Колька Цукаров, из Смоленска. Белобрысый такой, сухощавый. А глаза озорные, с хитринкой: как бы чего сотворить. Так, к примеру, тем, кто не курил, сахар да шоколад полагались. А Колька, тот смолил по-страшному, но и сладкое тоже уж больно любил. Завидовал он нам, тем, кто не курил, и всё бросить пытался, да не мог. Так мы что решили: как увидим, что курит, – сахару не давать! А Колька, хитрец, пойдёт в другой расчёт – накурится, а потом к нам за сахаром бежит. Помню, списались мы с девчатами из Кировской области, где, как выяснилось, мои мать с сестрой были в эвакуации. Колька, тот, значит, с сестрой моей Манькой переписывался. И у меня девушка была. Валея звали. До конца войны писали друг другу, а свидеться не пришлось. Но фотографию её берегу как память... Так вот, бросили нам как-то раз с самолёта подарки из Монголии. А в подарках тех фотографии тамошних стариков были. И решили мы с Колькой подшутить над тёзкой моим, Васькой Пономаренко. Был он сам с Донбасса, до войны, значит, шахтёром работал. Здоровый, как медведь, а краснел, будто девушка. Так вот, послали мы в Кировскую область, подруге его, фотографию монгольского старика, а написали, что Васькина. Спустя время, когда почту принесли, смотрим: Василий-то наш понурый ходит и всё в толк взять не может, про какую такую фотографию ему пишут. Пришлось нам с Колькой оправдательное письмо писать: мол, простите, так и так, виноваты. Но смеялись тогда здорово.

А весной одолевала нас куриная слепота. Перед работой (а на войне не только стреляют, но и копают, много копают: надо и самому окопаться, и орудие установить) давали нам витамины, а как поработаем, так опять ничего не видим. Только и видишь, как вода в реке блестит.

А то холода страшные... Помню, пошли мы с Колькой дрова искать. И наткнулись на что-то, думали, поленница, а это трупы штабелями сложены: хоронить-то всех не успевали. А что люди не смогли, то метель доделала. Бредём мы по снегу, а из него валенок торчит – значит, наш брат – солдат. А как сапог, так немец. Нашли

немного дров, костёр развели и сели вокруг него пшёнку есть. Я, помню, прямо на фрица сел. Молодой такой парень, лет двадцати, красивый. «Ну, зачем, – спрашиваю, – пришёл? За пшёнкой нашей? Так на, ешь – не жалко». Молчит фриц, лишь метель воет...

... За стеной соседский мальчишка играл на скрипке. А в небе зажглись звёзды, и казалось, музыка звучит согласно этой мерцающей нотной грамоте, от низких звёзд к более высоким, от дрожащих жёлтых к напряжённо красным. И в этом нарастании напряжения слышалась тоска по зелёному, но зелёных звёзд на небе не было.

Вспомнилось, как прошлым летом стояли на скале юноша и девушка, а над ними раскинулось такое же, как сейчас, звёздное небо.

Она: Красота-то какая, Господи! Можно протянуть руку – и на кончиках пальцев будет сиять звезда. Вот смотри: я держу её.

Он: Оптический обман, и всё.

Она: Но ты слышал, какая была музыка, когда я коснулась её?

Он: Ты чудачка. Но чтобы поддержать твоё поэтическое настроение, могу прочесть стихи:

*Полночных солнц к себе нас манят светы.
В колодцах труб пыливый тонет взгляд,
Алмазный бег вселенные стремят;
Системы звёзд, туманности, планеты.*

Она: Максимилиан Волошин.

Он: Ну как?

Она: Стихи? Чудесные. Но ты же хочешь услышать: «Ты умный». Хотя стихи ты читать не умеешь – не обижайся. Слушай, умный, а ты веришь, что она бесконечна?

Он: Кто она?

Она: Вселенная. Мне так трудно представить это. Кажется, что всё-таки где-то есть край. Знаешь, как я себе это представляю? Будто темно-темно – и вдруг свет! И поле зелёное, и цветы, и небо, и реки – словом, всё, как на Земле. «На страшной высоте земные сны горят, зелёная звезда летает...» Только люди все счастливые. А как ты представляешь край Вселенной?

Он: Мне нравится само путешествие в космос, и, между прочим, с тобой. А край? Не знаю, но мне представляется обычная кирпичная стена.

Она: Холодно стало. Пойдём.

Она опустила руки, и звёзды вновь стали далёкими. И были среди них и жёлтые, и красные, а зелёных почему-то не было.

*Я вздрагиваю от холода –
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото –
Приказывает мне петь. –
Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай лёгкий мяч!
Так вот она – настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!
Что, если вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной
Достанет меня звезда!!!*

– А однажды на рассвете упал за деревней, где мы стояли, «кукурузник», немцами расстрелянный. Все, значит, к самолёту бросились и успели из него лётчика вытащить. А им оказалась девушка. Шлем-то когда сняли, волосы по плечам так и рассыпались. Я таких красивых и не встречал никогда. Правда, гимнастёрка на ней вся была кровью залита, а на груди одиннадцать дырочек от пуль. Вот, доченька... У неё ещё букетик ромашек в кармане был. Так ромашки те от крови красными стали. Помню, родинка у неё на шее была, ну как у тебя. Так вот за эту родинку и положили мы тогда трёх «мессеров».

... Я почему-то вспомнила, как в середине семидесятых мы всей семьёй ездили в Прибалтику на слёт ветеранов войны. Отец участвовал в освобождении Латвии от фашистских захватчиков и получил приглашение от местных школьников. Нас поселили в старинном замке времён немецких рыцарей. Он стоял на берегу тихой речки, мрачно глядясь в её прозрачные воды. А вокруг на деревьях были гнёзда аистов.

Нас с мамой поселили с бывшими лётчицами. Обыкновенные русские женщины, некоторые из них оставили дома мужей, детей, внуков и сейчас показывали всем их фотографии. А у других не было никого, и они лишь смотрели чужие снимки, пытаясь угадать, кто на кого похож. Возвращаясь после экскурсий и приёмов, женщины-ветераны устало садились на кровать, вытягивая отёкшие ноги. Хвастались покупками, которые тут же примеряли, завивались на ночь на бигуди, накладывали маски, – словом, обыкновенные женщины. Но всё-таки рядом с ними моя мама, уже давно немолодая, много видевшая и пережившая в жизни, казалась девчонкой.

Просто они были там, и сейчас они там, в плену у своей военной молодости. Вечерами они начинали вспоминать войну, горящие самолёты своих подруг и то, как, со всей силой нажимая на гашетку, идя против самого естества своего, они убивали тех, кто нёс смерть. Одни рассказывали об этом грубо, по-мужски, а после подолгу курили, другие – плача и как-то очень по-бабьи всхлипывая. А то вдруг вспоминали какой-то забавный случай и начинали от души смеяться, перестукиваясь с жившими за стеной седыми «мальчиками», то ругались по пустякам, то пели грустные песни. А то вдруг, махнув на всё рукой, начинали отплясывать по-молодому задорно и в то же время с каким-то рвущимся отчаянием, отражённым зеркалами и освещённым множеством свечей, а железные рыцари невозмутимо холодно смотрели на этот отчаянный танец «ночных ведьм». Не вырваться из этого плена, кровью повязаны помнить.

... А утром вокруг замка над гнёздами кружили аисты.

– Был в нашем взводе казах один, Мусабеком звали. Девятнадцатого года рождения. Роста он был небольшого, с меня где-то. Ничем таким особым от других не отличался, разве только тем, что спирт не пил, а относил его в госпиталь, для раненых, значит. А вот почему-то чаще других стоит перед глазами.

Было это 13 апреля сорок третьего года. Помню, сидели мы тогда в землянке, грелись. Вместо печки ещё бак от машины был. Чай согрели, кто-то из ребят за сухарями побегал. Васька Пономаренко читал статью Рузвельта о втором фронте. Колька Цукаров – тот, как всегда, заливал. Я писал письмо матери, в Кировскую. А Мусабек сидел около огня и тихо так, еле слышно пел. Пел он на своём казахском языке, а глаза у него, помню, были закрыты. Никто раньше-то не слышал, чтобы Мусабек пел, и никто почему-то не мог смотреть на него, а смотрели все на огонь. А он вдруг и говорит: «Степь у нас весной красивая. Тюльпаны цветут... Убьют меня сегодня – паёк и деньги между собой поделите». Колька Цукаров ему в ответ, мол, паёк-то мы поделим, а деньги, те родным, в Казахстан, отправим. Мусабек, помню, встал: ему тогда на пост нужно было заступать. Попросил у меня шинель да валенки: его-то не просохли ещё. А уходя, посмотрел на огонь – так огоньки в глазах его и запомнились.

Было восемь часов вечера. Только успели сухари раздать, как тревога. Я как был в гимнастёрке, так и выскочил из землянки. Ещё с чаш-

кой чая в руках; выпить-то не успел. Так я её прямо в снег поставил – и к оружию. Командир мне: «Бегом, за снарядами!» Только я, значит, отбежал, как за спиной, у пекарни, где несколько солдат хлеб пекли, взрыв раздался. Вижу: Вася Пономаренко лежит на куске окровавленного мяса и орёт: «Нога, братцы, нога!» А командир (контузило его тогда) землю стряхнул да выплюнул: «Замолчи ты. Если бы у тебя ногу оторвало, то ты б ещё не таким голосом орал. Это Мусабка разорвало». А кругом на несколько метров всё в крови да обрывках тканей. Кровь была даже в чашке с чаем. Похоронили мы его, верхней, то, что от него осталось. Так прямо в моей шинели и закопали.

...Совсем стемнело. От света уличных фонарей лицо отца, всегда молоджавое, кажется постаревшим. Глаза прикрыты, словно он вспоминает песню, что пел Мусабек. Я будто впервые вижу его седые виски, нос с горбинкой: «пуля царапнула», шею, всю словно в рытвинах от когда-то тугого воротничка пропитанной солдатским потом гимнастёрки, от ворота не успевающей сохнуть шинели. Как-то по радио передавали, что из каждых ста человек самого призывного возраста – родившихся в 1921–1923 годах, – в живых осталось лишь трое. Мой отец 1921 года рождения.

Мой год рождения отделяет от войны семнадцать лет. Я не видела войну, но я всё же знаю её лицо. Это лицо убитой девушки-лётчицы, которая была так молода, что будущее пыталась узнать по лепесткам ромашек. Но это и лицо смеющегося фашиста, расстреливающего с самолёта толпы беженцев. Это лицо моей бабушки, получившей похоронку на дядю Сашу, сгоревшего в танке под городом Белым. И это запорошенное снегом лицо немецкого солдата, для которого не нашлось даже берёзового креста. Это и лицо освобождённого города с русским названием Старая Русса, в котором уцелели лишь несколько домов да церковь, каждый кирпич которой был испещрён осколками (помню папину солдатскую ложку с выцарапанной надписью «Старая Русса», которую мы отнесли в краеведческий музей). Война смотрит на меня чёрными, отражающими огонь глазами Мусабка. Я словно слышу его прощальную песню, превращающуюся в сумасшедший свист «катюш». Вижу изрытое взрывами гранат деревенское кладбище со сломанными крестами и деревьями, изрешечённую автоматной очередью фотографию старой женщины.

Война для меня – это словно объятая пламенем

рублёвская «Троица» с васильками в спелой ржи.

...Отец замолчал. В таких случаях обычно пишут: «закурил». Но мой отец не курил. Ещё в пятнадцать лет вместе с другом дали слово не курить. Всю войну прошёл, а так и не начал.

– Когда вернулся после войны домой, в деревню, то первым делом срубил дом для матери с сестрой. Прежний-то партизаны сожгли, чтоб, значит, финнам не достался. Посадил вокруг дома тополя. Небольшие, молоденькие, а видны были издалека, так как кругом пепелища да вырубки. Нелегко было начинать новую жизнь-то. Война многие ниточки оборвала, иные в узлы завязала на долгую людскую память. Все люди-то после войны радости ждали. Казалось, всё вокруг петь должно... Только не птичьей песней, а серым волком обернулись послевоенные годы.

Мужиков-то мало было, в основном одни бабы да ребяташки. Техники никакой. А скот, так тот в разных концах деревни от голода ревет. Крапиву варили, всё, значит, витамины. И зимы-то, как назло, лютые, словно война землю насквозь выстудила.

А ещё появился в наших местах волк-людоед. Привык, видно, во время войны к человечине-то.

Помню, как-то вечером шёл я по лесу: с танцев возвращался – танцы раньше в Часовенском были (штык, значит, в валенке – на всякий случай). Только стал через ручей переходить, как слышу: словно свист человеческий (так порой волк свистит). Вышел, значит, он из кустов, матёрый такой. Кажется, войну прошёл, всякого страха натерпелся, так ещё такого довелось. И всю-то он дорогу за мной шёл, а не тронул.

Был у нас охотник один. Всё хвастался, что убьёт волка. Облавы с друзьями устраивал, капканы ставил. Два года за ним охотился. Как-то раз один на один встретился. Выстрелить-то выстрелил, да не попал. А волк-то ему, видно, не простил тот выстрел.

Как-то возвращался мужик домой. Метров сто ему и идти-то было. А волк, видать, караулил его, ну и набросился. Два раза волк на мужике был, два раза мужик на волке. Как живым ушёл, и не помнил. Спрашивали – молчит. Устроили вновь облаву. Много тогда волков побили, а людоеда так и не поймали. Мужик тот сам не свой сделался. Ходил страшный такой, угрюмый. Сам на волка похож стал.

А однажды пробрался он к волчьему логову да и залёг там. Снежок ещё тогда выпал, а следов-то нет. Значит, в логове сидит. И ведь чувствовал волк, что охотник рядом, да силен

волчий закон: около своего логова не убьёт.

Выстрелил охотник прямо, значит, в чёрную дыру. И не стало больше волка-людоеда, не стало слышно воя его страшного, перестали люди от тени своей шараться.

А мужик-то тот, говорили, друга своего на охоте убил. Случайно ли, нет ли: кто что говорил. Только после этого он умом тронулся. Вот, значит, как...

А жизнь своим чередом пошла. Задышала наконец земля: ладонь поднесёшь – дух живой чувствуешь. Журавли на болото вернулись. Да и люди вздохнули свободнее: к тому времени уж и карточки отменили. А в кузнице, что за нашим домом, застучал наконец-то молот...

Пришла после вечерней смены мама. Устало улыбнулась: «Вы почему не спите? Меня ждали?»

...Отец выкопал колодец. За домом, под старой ивой, недалеко от заброшенной, покосившейся от времени кузницы.

Я шла за водой и видела, как в соседнем дворе играют дети. Здравствуйте! Зачерпнув воды, я заглянула в колодец: от отражённого в нём чистого голубого неба он казался бездонным.

Мамин дом

*«Домовой не показывается:
его только во сне можно видеть...»*

(М. Пришвин. «В краю непуганых птиц»)

«Человеку надо, чтоб прийти домой... и дочка в окно смотрит, и жена режет чёрный хлеб счастья».

(Л. Леонов)

Наш старый дом. Сейчас его нет. Я была маленькой, но помню, как его снесли. Чужие, незнакомые люди разбирали крышу, стены. С грохотом падали доски. Это был уже не дом, а лишь скелет его. А со скалы он казался паутиной. Здесь, в этом доме, тридцать с лишним лет жила семья...

Однажды на чердаке дома я нашла корону. Она была сделана из плотного, пропитанного клеем материала, натянутого на проволочный каркас. Кружевной узор из бисера да один тусклый камень – вот и всё, что осталось от короны. Я заклеила её изнутри обёрткой от чая, украсила ёлочными бусами, и на всех детских утренниках мой костюм занимал первое место, потому что корона была «настоящая-пренастоящая».

Позже я узнала, что это был кокошник моей

прабабушки, в котором она выходила замуж. И что камни и жемчуг во время войны пошли на то, чтобы моя мама не умерла с голоду.

Я сорвала всю эту ёлочную мишуру, и сказочная корона снова превратилась в старый кокошник, а тусклый камень его словно хранил тайну о чьей-то нелёгкой, рано угасшей судьбе...

Перед 1905 годом появился на Мегреге человек – ссыльный из Петербурга. Говорили, что дворянин и что дом у него двухэтажный, недалеко от Исаакиевского собора. Звали его Петром Петровичем Ефремовым. Был он молод, силён. Внешне очень отличался от местных жителей, в большинстве – карелов. Иссиня-чёрные густые волосы вились тугими кольцами, большие ярко-синие глаза смотрели открыто и приветливо.

Здесь, на Мегреге, он женился на местной девушке, которая пошла за него без согласия родителей. Необыкновенной красоты была Аннушка – дочь небогатого торговца рыбой. Люди за ней следом ходили, любовались. Но недолгим было их счастье. В 1905 году уехал Пётр Петрович в Петербург, а через год привезли его оттуда в телеге тяжело раненным. Вскоре от ран он и умер. После его смерти нашли на чердаке ящик с письмами от сестры из Петербурга. По словам бабушки: «Письма чудные такие, в каждом про деньги спрашивает. Однако никто ему денег не присылал, и он никому не отправлял. Может, что иное подразумевалось».

А красавица жена ненадолго пережила своего мужа: умерла, когда дочке Машеньке было три года, а сыну Пете и года не было. Взяла к себе сирот родная сестра Аннушки – Мария Михайловна. Она была замужем за купцом Тихоновым, мать которого постоянно ворчала и требовала, чтобы чужие дети были отданы в приют. Но дети остались жить в огромном купеческом доме, на первом этаже которого помещался небольшой магазин.

У Тихоновых был свой сын – Саша. После Февральской революции призвали его в армию. Очень он не хотел идти – в ногах у отца валялся, просил выкупить его, только не отдавать в рекруты. Но батюшка Михаил Тихонович (и фамилия была Тихонов, и отчество – Тихонович) был неумолим. «Нехорошо это, Саша, надо идти Отечество защищать», – таким было отцовское напутствие. И Сашу забрали в солдаты.

А в октябре семнадцатого перешёл он на сторону новой власти и вскоре, схваченный юнкерами, был расстрелян.

И стали «сестрины» дети родными. Позже, когда Машенька и Петя спрашивали о родите-

лях, тётка прижимала их к себе, плакала и с обидой в голосе говорила: «Да неужели вам плохо живётся, что спрашиваете?»

После смерти сына Михаил Тихонович все свои амбары открыл и, глядя, как растаскивается нажитое годами добро, кричал: «Берите всё подчистую! Сына убили! Единственного сына! Нет его, так и ничего не надо. Налетай!»

А спустя время, как вспоминала бабушка, «жалко ему стало добра-то своего. От горя такого заболел чахоткой да через две недели и помер». Перед самой смертью сказал: «Ты, жена, недолго меня переживёшь... Петя хоть и мал ещё, а всё мужик. А вот Машеньку жалко. В одном платье...» И, горько заплакав, умер.

Остались они в огромном доме втроём, да ещё помогавшая по хозяйству хромая бабка Лукерья, про которую говорили, что знается с самой нечистой силой. Сны умела разгадывать, порчу да хворь всякую отводить, а вечерами рассказывала сказки про домового. Будто если осерчает он, то уйдёт и не будет в этом доме счастья.

В двадцатом году пришлось ненадолго оставить дом, так как был он занят белофиннами. После освобождения села красными – вернулись. В доме был беспорядок, а на чердаке солома была залита кровью. Красные попросили разрешения на то, чтобы в магазине устроить телеграф. Долго потом благодарили и даже привели в качестве подарка корову, масло и творог от которой тётка отвозила в Петроград, где в то время свирепствовал голод. Там она навещала родную сестру Петра Петровича, муж которой тоже умер в ссылке. «Питерская» тётка в свою очередь иногда приезжала на Мегрегу, чтобы проведать оставшихся сиротами детей любимого брата Пети.

Когда однажды Машенька серьёзно заболела, тётка увезла её в Петроград, к знаменитому профессору, в доме у которого девушка жила, пока лечилась. Машенька была весёлой и любознательной, и старики полюбили её. (Во время обороны города от Юденича погиб их родной сын. Как и отец, он был врачом и лечил раненых красноармейцев.) За маленький рост и слегка вздёрнутый носик профессор прозвал свою юную пациентку Кнопкой. Он любил гулять с ней по городу, историю которого очень хорошо знал. Видела она и дом, в котором когда-то жил её отец.

Когда пришло время уезжать домой, профессор подарил Машеньке на память старую, но в хорошем кожаном переплёте книгу стихов Александра Сергеевича Пушкина. На титульном листе

было написано: «Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу».

Когда Машеньке исполнилось 16 лет, стали её сватать. К тому времени она стала очень красивой девушкой: кареглазая, с густыми тёмно-каштановыми волосами, заплетёнными в тугую длинную косу. Надо лбом волосы вились колечками, как у отца.

Машеньке не хотелось идти замуж, да её и не неволили. Но однажды, когда в очередной раз сваты ушли ни с чем, тётка, которая к тому же была и крёстной, не выдержала: «Хорошему человеку зачем отказала?» И призналась тогда девушке, что любит Степана Минина. Крёстная Мария Михайловна, услышав это, заплакала: «Да что ты, господь с тобою, в нищету такую идти!» Однако ж, зная характер крестницы, смирилась с её выбором.

...И спустя время пришла Машенька в семью Василия Минаевича Минина шестнадцатым человеком. Её полюбили в доме. Дед, сидя у печки и глядя, как она управляет по хозяйству, не раз говорил: «Люблю невестку Машу, одним поворотом сорок дел делает». Сам Василий Минаевич появился на Мегреге перед 1905 годом, так же как и Машенькин отец. Кто он и откуда пришел, никто не знал. Но на Мегреге мало кто тогда говорил по-русски, а у него карельские слова соседствовали с русскими. Говорил он, сильно окая и при этом слегка раскачиваясь. Так сидит он, бывало, у печки в старом овчинном тулупе, с которым не расставался ни зимой ни летом, молчит-молчит, да вдруг вздохнет: «Ох-ох-ох, хорошее дерево к нашему берегу не приплывет». Был он весь рыжий, а глаза зеленые, хитрющие. Достроил он себе дом и поселился в нем один с пятью сыновьями. Василий Минаевич, несмотря на нужду, каждого из сыновей выучил, все четыре класса имели. Хотя как сам в ямщиках ходил, так и все сыновья ямщиками были.

Младший его сын Степан такой уж особой красотой не отличался. Ростом был высок. Голову брил наголо «под Котовского». Чтобы очень добрый был, так нельзя сказать. Детей своих пальцем не трогал, не обижал никогда, но и ласки большой от него не видели, словно порой и не замечал их. Зато деревенские ребяташки его очень любили. Как увидят его сани расписные, следом бегут: «Дядя Степан приехал!» И для каждого из них подарочек найдется. А дома совсем не такой делался. А секрет-то весь в том, что очень он любил жену свою Машеньку. Так сильно любил, что ревновал ее к собственным детям.

При советской власти Степан Васильевич на-

чальником стал. Образования большого не было, но умел он людей организовать, так сказать, увлечь личным примером. Ездил по сплавным участкам, и из-за его работы приходилось постоянно переезжать с места на место: Кемь, Кандакша, Олонек.

Но, где бы они ни были, рожать Машенька ездила в одно место – на Мегрегу. После рождения последнего, третьего, ребенка Степан Васильевич Минин был переведен на работу в Кондопогу, вот тогда-то и купил он этот дом. Причем у какого-то пьяницы, продавшего его за бесценок.

«Проклятый дом, – как позже назовет его бабушка. – До войны будто всё хорошо было, а уж после – все несчастья на нашу семью в этом доме свалились».

Был он огромный, черный, необычной квадратной формы, с высоким черным крыльцом. А вокруг росли старые яблоневые деревья да крапива вдоль забора, за которым начинался лес, зажатый с двух сторон скалами.

Как только переехали, устроились, стали ждать дядю Петю. Очень брат с сестрой любили друг друга, казалось, дня не могли в разлуке прожить. Когда Минины переезжали, дядя Петя ехал вслед за своей Машенькой. Внешне он очень походил на своего отца, Петра Петровича: те же черные тугие кольца, синие глаза, и звали его так же. Он был очень добрый и ласковый. У него самого после первой девочки девять детей умерло. А он очень хотел сына. И, наконец, в тридцать седьмом родился мальчик. Ох, и радовался Петр Петрович, да только недолгой была его радость. Перед тем как приехать к сестре, он прислал небольшое письмо. «Дорогая моя Машенька, сдам годовой отчет, все свои бухгалтерские дела улажу и приеду. Куплю какую-нибудь хибару недалеко от вас, и снова будем вместе».

Но он не приехал. В ночь перед отъездом его забрали. Спустя годы жене написали, что умер от дистрофии, и выдали по тысяче на каждого ребенка. А ей, когда его арестовали, было только двадцать восемь лет. Второй раз замуж не вышла – тогда у нас в Карелии не принято было...

– Но вот и пришло время о себе рассказывать, так как Машенька и Степан Васильевич – это мои мать и отец.

Итак, крестный не приехал. Только и осталось, что фотография, на которой я, мама и дядя Петя в летнем саду, где меня премировали как лучшую ученицу. Под духовой оркестр. На голове у меня огромный белый бант, в руках новенький портфель.

Мама в цветастом крепдешиновом платье с жемчужной ниткой на шее – подарок купца Тихонова. А рядом крестный стоит, улыбается. Как мы, дети, любили его! Помню, с отцом петь начнут. Голоса у обоих хорошие были, да только ни одной песни до конца не знали. Куплет споют и к маме: «Машенька, как там дальше?» И она подпевает им. А мы хором: «И не знают, и не знают!»

Долго мы ждали его, пока нам не сказали, что ждать нечего.

Со временем дом наш мы обжили. Все вымыли, вычистили. Печку новую сложили. Вечерами было тепло, пирогами пахло. Отец приходил с работы уставший, но всегда веселый. Прямо с порога маму на руки подхватит, маленькую, смеющуюся, и, танцуя, поет свою любимую: «Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер в мае...»

А я любила оставаться в доме за старшую. Встану на табуретку и команду: «Толька, – сюда! Борька, – туда!» Братишки и рады стараться. Какие же они все-таки были разные!

Толька, младший, всегда любил играть один. Летом, бывало, соберем всех ребят с Пролетарского переулка и допоздна играем в лапту. А Толька стоит в стороне, руки за лямки комбинезона засунет и смотрит. Потом вдруг буркнет: «Вот делать-то нечего. Гм, дураки! Нинка, за мной!» Нинка – это его подруга, худощавая, длинная, из ушей постоянно текло.

Уйдут с ней в лес и сидят до тех пор, пока их не начнут искать. Матери зовут, кричат, а они ни гу-гу. И сидят ведь до посинения, пока Толька не толкнет Нинку в бок: «Кричи, – говорит, – теперь можно». А та своим писклявым голосом: «Мы здесь!»... И поведает, в кого уродился.

Борька совсем другой был. Смешливый, со всеми ласковый, а озорной! Бывало, возьмет стиральную доску, залезет под стол и начнет отца передразнивать. Водит рукой по доске и поет лишь одну и ту же строчку: «Да наши винтовки по врагу, эх, наши винтовки по врагу...»

Бабушка Мария Михайловна его больше всех любила. Внешне она казалась очень строгой, часто ворчала на нас, но мы в ней души не чаяли. Как станем спать ложиться, Борис и говорит: «Баби, возьми лекарство». Бабушка возьмет какую-нибудь бутылку, нальет в нее воды из самовара. Вот лекарство и готово. Теперь можно рассказывать сказки. Мы уж уснем под ее бормотанье, а Борька все просит: «Баби, теперь расскажи про машинку». «А теперь про лошадку». И так без конца. Бабушка не выдержит, шлепнет его, а он как закричит: «Ой, баби, лекарство да-

вай!» Та больное место водой смочит, он и успокоится. Как-то я ее спросила: «Бабушка, а домовой – это кто?» А она в ответ: «Видеть его, говорят, нельзя, а услышать можно. Вон, слышите, как дрова в печке весело трещат, кот на лежанке мурлычет да половицы поскрипывают, на окошках колокольчики в горшочках звенят. Это домовой радуется, на нас глядя...»

И думать не думали, что можно было все это так легко разрушить. Помню, перед самой войной Толька наш все в железную дорогу играл. Заберется один в курятник и там из спичек «рельсы да шпалы» кладет, а потом пыхтит, как паровоз: «Ту-ту!» Еще кот наш, Барсик, куда-то пропал. Бабушка тогда сказала, что домовой перед несчастьем всегда скотину из дома гонит. Вскоре нашли мы кота мертвым, лежал он за колодцем, что отец для общего пользования выкопал. (Люди раньше за водой далеко, на озеро ходили.) А как зеркало треснуло, тут уж бабушка перекрестилась: «Быть беде...»

Отца нашего не сразу на фронт забрали. Среди всех специальностей, которыми он владел, на одну была наложена бронь. Но директор сплавной конторы приписал эту специальность своему брату. В военкомате разбираться не стали. Не до этого было: немцы уже двигались к Москве.

Когда принесли повестку, отец стал собираться. Мы с Борькой сидели молча, даже плакать боялись. А Толька проснулся, ручонками за спинку кровати держится и говорит: «Мам, Гитлер папу убьет, да?» – «Типун тебе на язык», –

поправила вещевой мешок, прижалась: «Степан, а как немец Москву возьмет, куда Сталин денется?» Отец еще улыбнулся: «Ой, Машенька, ты спроси, куда твой Степан завтра денется».

После мама все корила себя за то, что так проводила его, что ни одной слезинки не пролила. Отец ушел на призывной пункт один: не любил, когда провожали. И только он за порог, Тоня Курицына прибегает. Она с отцом вместе в сплавной конторе работала. Молодая была, а уж партия. «Где, – спрашивает, – Степан Васильевич? Ведь неправильно его забирают».

Бросилась к Дому культуры, там тогда призывной пункт был. Прибежала, а народу столько, что не пробиться. Словно стена горя вокруг. Мужики стоят, дымят. Бабы всхлипывают. А как двери открылись и повели их, родимых, тут все к своим бросились. Вой, крики. Тоня пыталась пробиться, но её оттолкнули. Тогда она как закричит что есть силы: «Степан Васильевич, Степан Васильевич, неправильно вас забирают, неправильно!» А он лишь рукой махнул: «Ничего, Тоня, правильной не бывает, иду Родину защищать. Прощай!» Было это седьмого августа. А восьмого августа он погиб на подступах к Ленинграду. У города с названием Стрельня.

Окончание в №11-12

Марина Васильевна ГУСАКОВА

родилась в 1962 году в городе Кондопога.

Окончила историко-филологический факультет

Петрозаводского государственного университета (1985 г.).

35 лет работает учителем русского языка и литературы

в Кончезерской средней школе.

В журнале «Север» публикуется впервые.

